

ГЕНРИХ БЁЛЛЬ

ГЛАЗАМИ КЛОУНА



*ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА*

УДК 821.112.2-31
ББК 84(4Гем)-44
Б43

Серия «Эксклюзивная классика»

Heinrich Böll

ANSICHTEN EINES CLOWNS

First published in the German language
as «Ansichten eines Clowns» by Heinrich Böll

Перевод с немецкого *Р. Райт-Ковалевой*

Серийное оформление *А. Фереца, Е. Фerez*

Компьютерный дизайн *А. Чаругиной*

Печатается с разрешения издательства
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KG.

Бёлль, Генрих.

Б43

Глазами клоуна : [роман] / Генрих Бёлль ; [пер.
с нем. Р. Райт-Ковалевой]. — Москва : Издательство
АСТ, 2024. — 320 с. — (Эксклюзивная классика).

ISBN 978-5-17-107776-1

«Я клоун и собираю мгновения», — говорит о себе Ганс Шнир, нищий артист, «свой среди чужих, чужой среди своих» блудный сын богатого общества крупных буржуа, герой одной из лучших, самых пронзительных и горьких европейских книг XX века.

Действие впервые опубликованного в 1963 году романа Бёлля, который критики называли «немецким «Над пропастью во ржи», происходит в течение всего лишь одного дня жизни Ганса, но этот день, в котором события настоящего перемешаны с воспоминаниями о прошлом, подводит итоги не только жизни самого печального клоуна, но и судьбы всей Германии, на первый взгляд счастливой и процветающей, а в действительности — глубоко переживающей драму причастности к побежденному, но еще не забытому «обыкновенному фашизму»...

УДК 821.112.2-31
ББК 84(4Гем)-44

© Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KG,
Cologne / Germany, 1963, 1985, 2004

© Перевод. Р. Райт-Ковалева, наследники, 2018

ISBN 978-5-17-107776-1

© Издание на русском языке AST Publishers, 2024

Не имевшие о Нем известия увидят,
и не слышавшие узнают.

I

Уже стемнело, когда я приехал в Бонн, и я заставил себя хотя бы на этот раз не поддаваться тому автоматизму движений, который выработался в поездках за последние пять лет: вниз по ступенькам — на перрон, вверх — с перрона, поставить чемодан, вынуть билет из кармана пальто, поднять чемодан, отдать билет, к киоску — купить вечерние газеты, выйти на улицу, подозвать такси. Пять лет я почти ежедневно откуда-то уезжал и куда-то приезжал, взбегал и сбегал по ступенькам утром, сбегал и взбегал по ступенькам вечером, звал такси, искал по карманам мелочь, расплачивался с шофером, покупал вечерние газеты в киосках и в каком-то уголке сознания наслаждался точно заученной небрежностью этого автоматизма. С тех пор как Мари бросила меня, чтобы выйти замуж за Цюпфнера, за этого католика, все мои движения стали еще более автоматичными, хотя небрежность сохранилась. Расстояние от вокзала до гостиницы можно измерить точно, по счетчику такси: в двух, трех, в четырех марках от вокзала. Но с тех пор как Мари ушла, я иногда все же выпадал из ритма, путал гостиницу с вок-

залом: около портье нервно искал проездной билет, а у контролера спрашивал номер комнаты, и только какая-то сила — видимо, ее и зовут судьбой — всегда заставляла меня вспоминать о моей профессии, моем положении. Я — клоун, официальное наименование моей профессии — комический актер, ни к какой церкви не принадлежу, мне двадцать семь лет, и один из моих номеров так и называется: «Приезд и отъезд»; это такая (может быть, слишком длинная) пантомима, когда зритель до последней минуты путает — отъезд это или приезд; так как я обычно репетирую этот номер в поезде, а он состоит примерно из шестисот трюков, и всю их хореографию я, разумеется, должен помнить наизусть, то немудрено, что я иногда становлюсь жертвой собственной фантазии: вдруг лечу в отель, ищу расписание поездов, нахожу его, ношусь по лестницам, чтобы не опоздать на поезд, тогда как мне только и нужно было бы подняться в номер и подготовиться к выступлению. К счастью, почти во всех отелях меня знают: за пять лет создается ритм, в котором гораздо меньше вариаций, чем можно предполагать, а кроме того, мой агент хорошо знает мой характер и старается устранить возможные трения. То, что он называет «утонченной артистической натурой», окружается исключительным вниманием, и «атмосфера уюта» обволакивает меня, лишь только я захожу к себе в номер: стоят цветы в красивой вазе, и, как только я сбрасываю пальто, а башмаки (ненавижу башмаки!) летят в угол, хорошенькая горничная приносит мне кофе и ко-

ньяк, готовит ванну и наливает туда душистый со-
сновый экстракт, успокаивающий нервы. В ван-
не я читаю газеты — какие поглупее, иногда штук
шесть, а три уж наверняка — и негромким голо-
сом напеваю исключительно духовные мелодии:
хоралы, псалмы, мессы, которые я помню еще со
школьных лет. Мои родители, правоверные про-
тестанты, поддавшись послевоенной моде при-
мирения всех вероисповеданий, определили меня
в католическую школу. Сам я неверующий, даже
в церковь не хожу и церковные напевы исполь-
зую в чисто лечебных целях: они мне помогают
лучше всяких лекарств от двух моих врожденных
болезней — меланхолии и мигрени. С тех пор как
Мари переметнулась к католикам (хотя она и сама
католичка, но мне кажется, что это слово тут
очень кстати), моя хворь разыгралась еще силь-
нее, и даже «Tantum Ergo»^{*} или акафист Деве Ма-
рии — мои любимые лекарства — почти не помо-
гают. Есть временное лекарство — алкоголь; есть
то, что могло бы дать полное выздоровление, —
Мари, но Мари меня бросила. Если же клоун за-
пьет, он больше рискует сойти на нет, чем пьяный
кровельщик — упасть с крыши.

Когда я пьян, то все движения, которые оправ-
дываются лишь точностью выполнения, я делаю
неточно и совершаю самую ужасную ошибку, ка-
кую только может сделать клоун: смеюсь над соб-
ственными трюками. Страшное унижение. Пока

^{*} «Tantum Ergo [sacramentum] ...» — «Эту Тайну Пре-
святую...» (лат.)

я трезв, страх перед выступлением растёт до той минуты, как я выхожу на сцену (обычно меня приходится выталкивать из-за кулис), и то, что некоторые мои критики называли «задумчиво-иронической веселостью», за которой слышится «тревожное биение сердца», на самом деле было просто холодным отчаянием, с каким я делал из себя марионетку; плохо, конечно, когда нитка обрывалась и я оставался наедине с собой. Вероятно, монахи в состоянии медитации испытывают что-то подобное; Мари вечно таскала с собой всякие мистические книжонки, и я помню, что слова «пустота» и «ничто» встречались там очень часто.

Но в последние три недели я по большей части был пьян и выходил на сцену с ложной самоуверенностью; последствия сказались раньше, чем у лентяя школьника, который ещё может тешить себя какими-то иллюзиями до получения годовых отметок — в течение полугода ещё есть время пометчать. А я уже через три недели не находил у себя в номере цветов, в середине второго месяца номер был без ванны, в начале третьего месяца гостиница была в семи марках от вокзала, а заработок был срезан на две трети. Вместо коньяка — простая водка, вместо варьете — какие-то сомнительные фереины, собиравшиеся в темных зальцах, где мне приходилось выступать на отвратительно освещённых подмостках, и я не то что работал грубо, а просто выкидывал разные штучки, потешая юбиляров-железнодорожников, почтовиков или акцизных, католических домохозяек или евангелических сестер милосер-

дия, а налакавшиеся офицеры бундесвера, которым я скрашивал прощальный ужин после переподготовки, не знали, можно ли им смеяться или нет, когда я заканчивал свой номер «Совет обороны». А вчера в Бохуме, имитируя Чаплина перед какой-то молодежной организацией, я поскользнулся и не мог встать. Зрители даже не засвистели, только сочувственно перешептывались, и когда наконец опустился занавес, я прохромал со сцены, собрал вещички и, не сняв грима, поехал в свой пансион, где поднялся страшный крик, потому что хозяйка отказалась одолжить мне денег на такси. Шофер успокоился и перестал ворчать, только когда я ему отдал свою электрическую бритву — не в залог, а в уплату. У него еще хватило любезности выдать мне две марки и начатую пачку сигарет. Не раздеваясь, я повалился на неубранную постель, допил початую бутылку и впервые за несколько месяцев не почувствовал ни меланхолии, ни мигрени. Я лежал на кровати в том состоянии, в каком, если Бог даст, и окончу свои дни, — пьяный и как будто в канаве. Я бы отдал последнюю рубаху за глоток водки, и только сложные перипетии такого обмена удерживали меня от этого шага. Спал я превосходно, крепко, и во сне тяжелый занавес сцены, как мягкий плотный саван, обволакивал меня благодетельной темнотой. И все же сквозь забытие и сон я ощутил страх пробуждения: на лице грим, правое колено распухло, жалкий завтрак на пластмассовом подносе, а рядом с кофейником телеграмма моего агента: «Кобленце и Майнце отказали вечером

позвоню Бонн Цонерер». Потом звонок здешнего администратора, он только сейчас отрекомендовался как представитель Христианского союза просвещения.

— Говорит Костерт, — сказал он ледяным голосом холоуя, — надо обсудить вопрос о гонораре, господин Шнир.

— Пожалуйста, — сказал я, — разве вам что-нибудь мешает?

— Вот как! — сказал он.

Я промолчал, и когда он заговорил, то его дешевая напускная холодность превратилась в примитивный садизм:

— Мы договорились платить сто марок за выступление клоуна, который тогда стоил и все двести... — Он сделал паузу: наверно, хотел, чтобы я сразу сорвался, но я промолчал, и он снова стал самим собой — обыкновенным хамом. — Я представляю общественно полезное учреждение, и совесть не позволяет мне платить сто марок клоуну, для которого и двадцать марок достаточная, я бы даже сказал, щедрая плата.

Но я и тут не стал его прерывать, закурил сигарету, налил еще жидкого кофе, слыша, как он пыхтит. Он сказал:

— Вы меня слушаете?

Я сказал:

— Да, слушаю. — И опять подождал.

Молчание — отличное оружие; когда меня в школе отчитывал директор или педагогический совет, я всегда принципиально молчал. И христианнейшего господина Костерта я тоже заставил по-

потеть на другом конце провода. Пожалеть меня — для этого он был слишком мелок, но на жалость к себе его хватило, и он наконец пробормотал:

— Предложите же что-нибудь, господин Шнир!

— Слушайте меня внимательно, господин Костерт, — сказал я. — Предлагаю вам следующее: вы берете такси, едете на вокзал, покупаете мне билет первого класса до Бонна, покупаете бутылку водки, приезжаете сюда в отель, оплачиваете счет вместе с чаевыми и оставляете тут в конверте столько, сколько стоит такси до вокзала. Кроме того, вы обязуетесь перед своей христианской совестью бесплатно отправить мои вещи в Бонн. Согласны?

Он подсчитал, откашлялся и сказал:

— Но я хотел дать вам пятьдесят марок.

— Хорошо, — сказал я, — тогда поезжайте на трамвае, вам все обойдется еще дешевле. Согласны?

Он опять подсчитал и спросил:

— А вы не можете захватить вещи в такси?

— Нет, — сказал я. — Я расшибся и ничего не могу поднимать.

Видно, тут его христианская совесть все-таки зашевелилась.

— Господин Шнир, — сказал он мягко. — Простите, что я...

— Ничего-ничего, господин Костерт, я счастлив, что могу сэкономить для дела христианского просвещения пятьдесят четыре или даже пятьдесят шесть марок.

Я дал отбой и положил трубку рядом с телефоном. Я ихнего брата знаю — он непременно позво-

нит и снова начнет без конца распускать слюни. Лучше уж пусть сам ковыряется в своей совести. Меня и без того мутило. Забыл сказать, что, кроме меланхолии и мигреней, я обладаю еще одним, почти мистическим свойством — чувствовать запахи по телефону, а от Костерта приторно пахло фиалковыми лепешками. Пришлось встать и вычистить зубы. Я прополоскал рот остатками водки, с трудом стер грим, снова лег в постель и стал думать про Мари, про христиан, про католиков, представляя себе, что же будет дальше. Думал я и о канавах, в которых когда-нибудь буду валяться. Когда дело идет к пятидесяти, для клоуна может быть только два выхода — канава или дворец. На дворец я не надеялся, а до пятидесяти мне еще надо было как-то протянуть больше двадцати двух лет. То, что Майнц и Кобленц отказались от моих выступлений, означало, как сказал бы Цонерер, «первый сигнал тревоги», но, с другой стороны, это соответствовало еще одному свойству моего характера, о котором я забыл упомянуть, — моей инертности. В Бонне тоже есть канавы, а кто мне велит ждать до пятидесяти? Я думал о Мари, ее голосе, ее груди, ее волосах, руках, ее движениях, обо всем, что мы делали с ней вместе. И о Цюпфнере, за которого она решила выйти замуж. Мы с ним были хорошо знакомы еще мальчишками, настолько хорошо, что, встретившись взрослыми, не знали, как обращаться — на ты или на вы, и то и другое вызывало неловкость, и до сих пор при встречах мы не могли избавиться от этой неловкости. Я не понимал, почему Мари перебежа-

ла именно к нему, но, может быть, я никогда не понимал Мари.

Я страшно рассердился, когда этот Костерт вдруг прервал мои мысли. Он стал скрестись в дверь, как собака, и повторять:

— Господин Шнир, выслушайте меня. Может быть, вам нужен врач?

— Оставьте меня в покое! — крикнул я. — Суньте конверт с деньгами под дверь и уходите домой.

Он сунул конверт под дверь, я встал, распечатал его: там лежал билет второго класса из Бохума до Бонна и деньги на такси — всего шесть марок и пятьдесят пфеннигов. Я надеялся, что он для ровного счета положит хоть десять марок, и уже подсчитал, сколько я заработаю, если к тому же сдам билет первого класса, потеряю немного и куплю билет второго класса. Выходило около пяти марок.

— Все в порядке? — крикнул он за дверью.

— Да, — сказал я, — убирайтесь отсюда, скупердьяй божий!

— Но позвольте... — начал было он, и я заорал:

— Вон!

Он немножко постоял, потом я услышал, как он спускается по лестнице. Дети брэнного мира не только умнее, они и человечнее этих небесных чад. Я поехал на вокзал на трамвае, чтобы сэкономить на водку и сигареты. А хозяйка еще при считала мне расход за телеграмму, которую я вечером отправил в Бонн Монике Сильвс, — за это Костерт платить отказался. Значит, денег на такси

до вокзала у меня все равно не хватило бы. Телеграмму я послал до того, как в Кобленце отменили мое выступление. А я-то хотел отказаться первым, и меня это немного укололо. Лучше было бы, если бы я сам мог отказаться по телеграфу: «Выступать не могу, серьезно повредил колено». Что ж, по крайней мере телеграмма Монике отправлена: «Прошу приготовить квартиру на завтра сердечный привет Ганс».

II

В Бонне все идет по-другому: там я никогда не выступаю, там я живу, и такси отвозит меня не в отель, а прямо ко мне на квартиру. Надо было бы сказать: меня и Мари. В доме нет портъе, которого я мог бы спутать с контролером на вокзале, и все же эта квартира, где я провожу всего две-три недели в году, мне чужая больше, чем любой отель. Пришлось удержаться, чтобы на вокзале в Бонне не подозвать такси — я настолько затвердил этот жест, что чуть не попал впросак. У меня в кармане осталась одна-единственная марка. Я остановился на ступеньках и проверил ключи: от парадного, от двери в квартиру, от письменного стола. В столе лежал ключ от велосипеда. Я уже давно задумал пантомиму с ключами: я придумал сделать целую связку ключей изо льда, которые будут таять по ходу номера.

Денег на такси не было. А мне впервые в жизни действительно было необходимо взять такси: колесо распухло, и я с трудом проковылял через вок-

зальную площадь на Почтовую улицу — две минуты ходу от вокзала до нашей квартиры показались мне вечностью. Я прислонился к автомату с сигаретами и посмотрел на дом, где дедушка подарил мне квартиру. Элегантные апартаменты в виде составленных вместе коробочек, с изящно окрашенными балконами: пять этажей, пять разных тонов для балконов. На пятом этаже, где вся окраска в ржаво-красных тонах, находится моя квартира.

Может быть, я и тут играл пантомиму? Вставить ключ в замок парадной двери, ничуть не удивиться, что он не тает, открыть дверцы лифта, нажать кнопку «пять», с тихим шумом подниматься вверх, разглядывать сквозь узкое стекло лифта проходящие этажи, всматриваться в проходящие окна лестничного пролета: спина памятника, площадь, освещенная церковь, черная прорезь — перекрытие — и снова в слегка сдвинутой перспективе — спина, площадь, церковь, и так три раза, а в четвертый — только площадь и церковь. Вставить ключ в замок квартиры, не удивиться, что и эта дверь открывается.

Все в моей квартире ржаво-красного цвета: двери, обои, стенные шкафы; женщина в ржаво-красном халате очень подошла бы к черной кушетке. Наверно, можно было бы найти и такую, но я страдаю не только меланхолией, мигренями, инертностью и таинственным свойством чувствовать запахи по телефону. Самое страшное мое страдание — это склонность к моногамии: есть только одна женщина на свете, с которой я могу делать то, что обычно делают мужчи-